ЭССЕ ЭССЕ ЭССЕ ЭССЕ ЭССЕ ЭССЕ

РУССКИЙ ГУЛЛИВЕР

ЗИНАИДА МИРКИНА

ИЗБРАННЫЕ ИЗБРАННЫЕ ИЗБРАННЫЕ ИЗБРАННЫЕ ИЗБРАННЫЕ ИЗБРАННЫЕ

ИЗБРАННЫЕ ЭССЕ

Пушкин, Достоевский, Цветаева

Зинаида Миркина

Избранные эссе. Пушкин, Достоевский, Цветаева

НП «Центр современной литературы»

Миркина З. А.

Избранные эссе. Пушкин, Достоевский, Цветаева /
З. А. Миркина — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-085-3

В книгу известного поэта, прозаика и переводчика Зинаиды Миркиной вошли эссе о Достоевском – «Истина и ее двойники», о Пушкине – «Гений и злодейство», а также исследование о творчестве Цветаевой, ее поэзии, ее взглядов на искусство – «Огонь и пепел» (духовный путь М. И. Цветаевой).

ISBN 978-5-91627-085-3

© Миркина З. А.
© НП «Центр современной литературы»

Содержание

Учиться падать 6
Истина и ее двойники 9
Глава 1 9
Глава 2 13
Глава 3 15
Глава 4 18
Глава 5 21
Глава 6 25
Глава 7 28
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Зинаида Миркина
Избранные эссе. Пушкин, Достоевский, Цветаева

Зинаида Александровна Миркина родилась в Москве в 1926 году. В 1949 году она окончила филологический факультет МГУ, но из-за болезни на пять лет приковавшеё её к постели, распределения не получила и работала потом дома. Писала всю жизнь стихи и прозу. В советское время печататься могла лишь как переводчик из-за религиозной направленности своих стихов. Основные переводы – Р.-М. Рильке, суфийская поэзия. В 90-е годы начали выходить книги – вышло десять поэтических сборников и несколько томов эссеистики и художественной прозы, часть из них в соавторстве с Г. С. Померанцем. З.А.Миркина – лауреат норвежской премии Бьёрнстерне Бьёрнсона.

Учиться падать

В сказке Михаэля Энде[1] человек живет на уютно меблированном диске, вертящемся в уютной полусфере, вроде планетария, украшенной звездами и луной. Но вдруг небесный свод треснул и сквозь трещину глянула бездна. В бездне, ни на что не опираясь, стоит закутанная человеческая фигура, – и этот человек ни на чем позвал: «Иди ко мне!» – «Я упаду, – ответил человек на диске. – Ты обманщик, ты зовешь меня в пропасть…»

Трещина за трещиной – весь мир человека разваливается, а человек ни на чем при каждом повороте диска смотрит в глаза и мягким голосом зовет к себе: «Учись падать. Учись падать и держаться ни на чем».

Я помню вечер в Коктебеле, когда Зинаида Миркина читала свои стихи. «Нет, я еще жить хочу!» – воскликнул поэт Р. Он не хотел падать и держаться ни на чем. И как человек на своем рассыпающемся диске, он вцепился в обломки. Но диск рассыпается, открыты или закрыты наши глаза, видим мы трещины или нет.

Мир начинается с нуля.
Из ничего встает Земля.
И звезд немое волшебство
Рождается из ничего.
Из полной тьмы восходит свет.
Из одного сплошного «нет»,
Как океанская вода,
Разлилось мировое «да!».
О, тот чреватый миром ноль,
В котором утихает боль!
Та точка, где весы стоят,
Уравновешивая ад,
Где Дух одолевает вес
Всех гор и всех семи небес.
……..
Кто не доходит до нуля,
Под тем колеблется Земля,
Над тем гремит небесный гром –
Тот не становится творцом.

Кто до нуля дойти не смог,
Тому лишь только снится Бог,
И глаза Божьего овал
Его пугает, как провал.

(З. Миркина)

Нуль Зинаиды Миркиной – это опустошенность сосуда, в который входит дух Целого. «Одна капля твари вытесняет всего Бога», – говорит Майстер Экхарт[2]. Нуль – это ни одной

[1] Михаэль Энде – всемирно известный современный немецкий сказочник-мистик, переведенный на многие языки и издаваемый огромными тиражами в разных странах мира.

[2] Мейстер Экхарт – мистик XIII–XIV вв., оказавший большое влияние на развитие всей европейской и русской религиозной мысли. Его «Проповеди и рассуждения», пер. Маргариты Сабашниковой. М., 1912.

капли твари, абсолютное ничто твари. И вот здесь, когда все очевидное рассыпается в прах, наступает черед веры. «Вера же есть… уверенность в невидимом» (Послание к евреям, 11:1), которое не может быть удостоверено внешне и постигаемо только внутренне. Говоря языком автора, это черед истины без ее двойников, без застывших авторитетов, без слов, выцветших от тысячи повторов, миг авторитета внутри нас, миг творчества.

Зинаида Миркина обращается к истокам творческого самосознания, о котором писали «Вехи»[3]: к Пушкину, к Достоевскому – и изнутри Пушкина, изнутри Достоевского освобождает их от препятствий, созданных страхом падать и держаться ни на чем, когда вдруг терялась способность идти по водам – и, подобно апостолу Петру, они начинали тонуть (Матфей, 14:30–31). Это не внешний суд (очевидно, немыслимый); это Пушкин судит Пушкина, Достоевский – Достоевского. Да, но устами Миркиной? Странно. Непривычно.

Литературоведы так не пишут. Филологи так не пишут. Пишут – поэты, а у каждого поэта свой Пушкин, свой Достоевский, и в этом своем Достоевском Зинаида Миркина видит его взлеты и провалы: так, как поэты видят взлеты и провалы своих героев. Ибо для каждого подлинного поэта его герой – сын, единосущный отцу… Можно не согласиться с Пушкиным Марины Цветаевой (у вас, может быть, – ваш Пушкин, ставший частью вашего внутреннего мира). Но некорректно возражать, что «Мой Пушкин» Цветаевой[4] – не настоящий Пушкин. Настоящий Пушкин – это именно Пушкин личного восприятия, Пушкин читателей, а не памятник на площади и не условная схема юбилейных статей.

Все поэтические воплощения Пушкина или Достоевского – это факты одновременно двух творческих биографий: посмертной – того, о ком пишут, и живой биографии пишущего. Творческая личность познается творческой личностью. Лирический отклик на лирику не менее истинен, чем структурно-семиотический анализ (целостно истинен). А доподлинный Пушкин, доподлинный Достоевский – вечная, неисчерпаемая тайна, к которой можно бесконечно подходить – и никогда нельзя окончательно, бесповоротно прийти так, чтобы и говорить больше не о чем и пересматривать нечего. Зинаида Миркина, может быть, глубже других заглянула в эту тайну: до конца, до предстояния вместе с Пушкиным и Достоевским на Страшном Суде. Но это не документ из канцелярии с печатью Страшного Суда. Это поэт глазом своего сердца увидел поэта. Каждый подступ к великой тайне – «опыт», эссе (слово «эссе» и значит: опыт, попытка). Это эскиз целого. Факты, документы – осколки целого. Сами по себе они не складываются во что-то живое. Душу в глину вдувает художник, монтирующий факты, создающий из «фактов жизни» Пушкина и Достоевского живого героя. Всегда единосущного его собственной личности. «Пушкинская речь» Достоевского говорит мне и о Пушкине, и о Достоевском (неизвестно, о ком больше). «Мой Пушкин» Цветаевой – о Пушкине и о Цветаевой. «Прогулки с Пушкиным» Синявского (Терца) – о Пушкине и о Синявском. Так и эта книжка – самораскрытие ее автора. На той предельной глубине, которая автору доступна.

Дух нельзя измерить ничем, кроме духа. Только собственной глубиной, ожившей от прикосновения слова, я могу проникнуть в глубину поэта. И в процессе измерения я одновременно изменяю и его (приближая к себе), и себя (приближаясь к нему, вмещая его в себя). Я постигаю его собой (это субъективно); но в ходе постижения я действительно меняюсь и в себе постигаю его (его, существующего вне меня). Бердяев писал, что глубинное познание «транс-субъективно» (то есть лично мое и в то же время не только мое) – по ту сторону объективного и субъективного.

Познание Целого подобно борьбе Иакова с ангелом, как ее описал Рильке:

---

[3] «Вехи» – сборник статей Бердяева, Булгакова, Гершензона, Изгоева, Кистяковского, Струве, Франка. 1909 г. «Творческое самосознание» – статья М.О. Гершензона.

[4] Самим названием эссе Цветаева подчеркнула, что не скрывает своего личного подхода к поэту.

Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из любого боя
В сознанье и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

(«Созерцание». Перевод Б. Пастернака)

Не очень важно, какого поэта мы больше познаем в «Моем Пушкине», в «Истине и ее двойниках» и подобной «прозе поэта». Важнее, что мы познаем Поэта и сквозь него – «Поэта величайшего». Так – поэтом величайшим – Тагор называл Бога.

Григорий Померанц

Истина и ее двойники

«Я на то родился и на то пришел в мир,
Чтобы свидетельствовать об Истине;
Пилат сказал Ему: что есть Истина?»

(Иоанн. 18: 37-38).

«Мы говорим о том, что знаем,
И свидетельствуем о том, что видели;
А вы свидетельства Нашего не принимаете».

(Иоанн. 3:11)

Глава 1
Созерцание

«Сколько я ни встречался с неверующими и сколько ни читал таких книг, все мне казалось, что и говорят они, и в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду кажется, что про то».

«Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут **не про то** говорить»[5].

Это слова князя Мышкина, человека, имевшего настоящий религиозный опыт и потому о Боге не споривщего. Меньше всего надеялся он показать и доказать то, что открылось ему в тишине и в глубине. Все слова и доказательства – не про то, ибо «то» – не предмет среди предметов, не явление среди явлений. Все, что можно увидеть физическими глазами, показать и удостоверить – не то. Даже сам Иисус, увиденный одними физическими глазами – не то, не чудо, не Бог.

Чтобы увидеть «то», вовсе не надо закрывать глаза на «это». «То» не опровергает и не зачеркивает этот мир. Оно его только углубляет и высветляет. Увидеть «то» – значит увидеть сквозь этот смертный мир его бессмертную суть, вечность сквозь время, смысл сквозь бессмыслицу. Можно ли это понять и доказать тому, кто видит и чувствует не так, как вы? Можно было спорить о том, что вокруг чего вертится: Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Для каждого века была своя научная истина. Я допускаю даже возможность спора о том, существуют ли Земля и Солнце на самом деле или только в нашем воображении. Но о том, люблю ли я солнце, люблю ли я красоту, люблю ли я моих близких и, наконец, Бога, – спорить нельзя. Я люблю. Это бесспорно. Верите вы этому или не верите, это другой вопрос. Но я-то знаю.

Бесконечность жизни ощущается так же, как и любовь: сердцем. Созерцание – это есть виденье сердцем, только сердце может доглядеть вещи до их невидимой сути, доглядеть творение до Творца, мир до Бога. Бога не видел никто и никогда. Это сказал еще апостол Павел.

[5] Достоевский Ф.М. Идиот. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1973. – Далее цитаты приводятся по этому изданию.

Бог объективно, то есть извне, не удостоверяется, ибо Он внутри. Где-то очень глубоко внутри нас есть единая, общая всем точка, единый центр, единая реальность, без которой жизнь вообще немыслима, которая и есть Жизнь Вечная.

Истинная вера есть абсолютность сердечного зрения. Обнаружение вещей невидимых, то есть умение видеть сердцевину жизни. Если же начались споры и разноголосица, значит, внутренне еще не увидено. Значит, мы – вовне.

Истинно религиозный путь – это раскрывание внутреннего глаза, это не спор об Истине, а развитие сердечного внимания, растущее затихание, в котором начинает звучать то, что вовне не слышно. Духовная Истина не очевидна, но она внутренне бесспорна.

Однако вся история человечества, человеческой мысли, а заодно и история Церкви, есть история бесконечных споров, рассекающих истину на куски… Вечный спор о том, кто прав…

И, конечно, по обе стороны баррикад – цитаты из Евангелия (или других священных книг). «Не мир, но меч» (Матфей, 10:34). Но ведь Он же сказал: «Взявшие меч, мечом погибнут» (Матфей, 26:52). Как это совместить? Какую бы половину ни выбрать – все будет против Него, против целостной истины. А как совместить?

Когда-то фарисеи именно так Его и улавливали: «Позволительно ли нам давать подать Кесарю?»… И получили ответ: «Кесарево – Кесарю, а Божие Богу» (Лука, 20:22,25). Но как узнать, что кесарево, что Божие? Кто скажет?

Извне не скажет никто. И снова мы возвращаемся к жгучему вопросу: «Не мир, но меч»? Или «Взявшие меч, мечом погибнут»?

Попробуем выбрать второе. Кажется, весь дух христианства за это: «Любите врагов ваших» (Матфей, 5:44), «Блаженны миротворцы…» (Матфей, 5:9). Ну, а если на ваших глазах убивают ребенка? И словами о миротворцах оправдывается малодушие, трусость?..

Выход один: внутри должны быть некие весы, и никуда от этого не денешься. Нет правды на все случаи жизни. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матфей, 6:33).

Ищите. Ибо оно всегда сокрыто. Только следы, только вехи на пути. Только притчи. Только образы…

Бог творит нас по Своему подобию. Он творит образ. То есть говорит, каким хочет нас видеть, а не как нам поступать. Целостное «каким быть», а не сборник правил, как быть в каждом случае.

Ни одной директивы. Только образы. В целостном образе совмещается логически несовместимое.

Если видеть сердцем целостный образ Христа, то нельзя не почувствовать, что Он скорее сто раз даст убить себя, чем один раз Сам убьет кого-либо. Если бы это было не так, не было бы распятия. «Отойди от Меня, сатана» (Матфей, 16:23), – говорит Он Петру, хотевшему во что бы то ни стало спасти Учителя от казни… И знаменитое «Взявшие меч, мечом погибнут» было сказано ему же, пытавшемуся мечом защитить безоружного пленника.

И все-таки всех, кто будет буквально выполнять Его слова, Он внезапно ошеломит так же, как ошеломлял фарисеев, нарушая букву Закона и следуя его духу. «Не суббота для человека, а человек для субботы» (Марк, 2:27)… «Не мир, но меч»… по отношению к греху, ко злу. Не мириться со злом и грехом, в то же время бесконечно жалея и любя грешника, воистину бесконечно, вплоть до того, чтобы принести себя в жертву за всех.

Вот это «не мириться, любя», «не примиряться, жалея» и есть целостность, совмещение логически несовместимого. «Не мириться» – без любви и жалости – было бы тем, от чего Христос дальше всех на свете. Любить, жалеть и мириться с подлостью, низостью в душе любимого – это тот самый мир, о котором сказано: не мир, но меч.

Против зла стоять насмерть. Но как? А вот это никогда не известно. Только помнить, что оно и в других, и в тебе – одно и то же зло. И если приходится брать в руки настоящий, а не

только метафорический меч, нельзя забывать, что это обоюдоострое оружие. Рубя других, ты можешь ненароком загубить доброту в себе самом. И тогда враг, пораженный вовне, проникнет к тебе внутрь. И станет еще страшнее.

Итак, что бы Христос ни сказал, это не указание, а образ, и тот, кто приближается к образу Христа, в ком Христос изображается, тот и прав.

Главное – не спор о том, какая идея правильна, а какая – нет. Главное – это умение отличить человеческую идею, всегда относительно верную и неверную, от божественной, абсолютной истины, не определяемой нами, а определяющей нас. Но как отличить человеческое от божеского? Божеское от кесарева?

Этот вопрос ответа не имеет. По определению одного религиозного мыслителя (Джидду Кришнамурти)[6], только неправильные вопросы имеют ответы. Правильные – ответа не имеют. Правильные вопросы направлены внутрь, к Богу, который внутри нас. И ответить на них может только Бог – так, как ответил Он Иову. О человеческих идеях можно спорить. Божественную Истину можно только созерцать.

Созерцание… Самое пассивное состояние души. Земля, принимающая семя. Абсолютная полнота внимания, сила которого обратно пропорциональна действию. Никакого движения. В том числе движения мысли. Никаких помех, Душа настроилась на прием. И тогда совершается таинство. Происходит зачатие от Духа.

И в физическом, и в духовном мире законы одни и те же. Нельзя выдумать себе ребенка. Так же как нельзя выдумать настоящую поэму. Она зачинается, вынашивается и рождается. Она может быть неудачной или удачной (как ребенок), но если она живая, на нее также распространяется заповедь: не убий…

Живое, сущее – не значит обязательно новое. Оно – вечное. И оно каждый раз заново рождается.

Нельзя просто повторить вечную мысль. Ее нужно созерцать. То есть увидеть сердцем, соединиться с тем, что видит сердце, – зачать, выносить и родить заново. То, что только повторено, а не рождено, не живое. И оно бесконечно уступает самому плохонькому, самому неправильному и несовершенному, но живому. И это вечный соблазн для человеческого ума, которому всегда хочется повторить или ниспровергнуть (что очень часто – две стороны одной медали), но не родить заново… Дети, подростки повторяют или ниспровергают – но они живут в мире, уже сотворенном; творить, рождать они еще не умеют. И наше, несколько тысячелетий насчитывающее человечество (если говорить о массе), – еще не вышло из школьного возраста. Легче всего нам повторить или ниспровергнуть (или делать и то, и другое сразу).

До сих пор длится на свете древняя мистерия: Иов и его друзья.

Бог предает своего любимого праведника в руки сатаны, и тот отнимает у Иова все, что ему дал Бог: богатство, всех десятерых детей, здоровье. Иов поражен страшной болезнью. Он абсолютно немощен. И один в пустыне. «Похули Бога и умри», – говорит ему жена, которой опротивело его дыхание (Иов, 2:9, 19:17). «Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных; неужели доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов, 2:10).

И вот приходят друзья и останавливаются перед Иовом и молчат, потрясенные. Если бы они не прерывали молчания! Если бы они отважились на созерцание, на полноту сострадания, на сопричастность!

Но созерцание, истинное духовное созерцание – это не просто пассивность. Это самый напряженный духовный труд. Это отказ от движения внешнего ради движения внутреннего. Это затихание, замирание всего, что вблизи и на поверхности, для того чтобы услышать то,

[6] Джидду Кришнамурти (1895–1985) – религиозный учитель-мистик, родившийся в Индии, но большую часть жизни проживший в Европе и США, суть учения которого проходит сквозь великие мировые религии и объединяет их в духе.

что вдали и внутри. Это размыкание своей малой цельности, самости для смыкания с великим целым (не от себя творю) – сотворчество с Богом. Эго ступень, на которой нелегко устоять.

И друзья Иова спохватываются. Им не по силам настоящий духовный труд. Они не дают своему молчанию созреть и принести плод. Священное бездействие, в котором вот-вот начнет действовать Бог, их пугает. Они начинают действовать сами. От себя. И вся великая мудрость веков – к их услугам. Только повтори. Выучил – повтори.

И они призывают мученика к покаянию. Если Бог свят, то Он прав. Если Он прав, значит, ты не прав. Если Он наказывает – кайся!

И тут-то Иов не выдерживает. И проклинает. Не спешите говорить, что Бога. – Он проклинает ходячую мудрость, человеческие представления о Боге, а заодно и свои собственные представления, свою собственную накопленную мудрость и стойкость, свой разум, свою силу, свою способность терпеть. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек!» (Иов, 3:3)

Все сметено. Весь хлам мертворожденных слов отброшен. Остается одна боль, одна исстрадавшаяся душа и ничего больше. Молчание. И здесь, в молчании, становится слышным живой голос. Живой Бог ответил душе, которая отбросила все неживое и пробилась к обнаженной таинственной Глубине, к смыслу своего страдания. Бездна открылась Бездне. Гром. Буря. А потом – тишина. И в ней – Бог. То есть Чудо. Ощущение нового измерения Жизни.

Какие слова сказал Бог Иову? Если быть целомудренным, надо бы не повторять этих слов, никогда не повторять. То, что Бог сказал Иову, – это Тайна. Было живое созерцание. Свершилось таинство. Из живого созерцания, как плод его, родились слова.

Эти слова не так уже многим отличаются от слов, которые говорили Иову друзья. И все-таки между словами Бога и словами друзей – бездна. Та самая Бездна, из которой рождается жизнь. Одни слова рождены. Другие повторены. Разница только в этом. Но не бывает разницы большей. Одни слова – таинственные – живые. Другие слова – лишенные всякой тайны – мертвые.

«Мысль изреченная есть ложь» (Ф.И. Тютчев. «Silentium!», – сказал поэт и продолжал всю жизнь писать, говорить – изрекать… Он хорошо знал, как трудно изречь и как трудно услышать мысль. Он предостерегал и говорящих, и слушающих от видимой легкости восприятия, от повторения вместо рождения.

Изречь мысль (или услышать изреченную мысль) значит зачать, выносить и родить. Мысль изреченная – готовая мысль, обретшая форму мысль, есть оболочка мысли. А у нее, кроме этой видимой оболочки, есть глубина. Тайна. Не причастившись этой Тайны, не изречешь живого и не услышишь живое.

Глава 2
Мера жизни

Истинная вера в Бога невозможна без созерцания. Вера без созерцания есть омоним веры, а по сути – ее антоним. Это «не та вера – не доверие глубине, раскрывшейся сердцу, а слепое доверие чему-то внешнему, чего сердце не знает». То, что знает сердце, не нуждается в удостоверении.

То, что можно проверить, – не Чудо и не Вечность. Ибо проверка лежит в области внешних глаз, внешних чувств – на том самом поверхностном уровне, на котором Чудо существовать не может, как не может существовать в верхних слоях моря глубоководная рыба. Чудо – не нарушение физических законов, а обнаружение других законов, не противоречащих законам физического мира, а не зависящих от них.

Обнаружение Вечности внутри преходящего мира, обнаружение бессмертия внутри смертных существ… То, что только было или только будет, не есть вечное. Какое же оно вечное, если его нет сейчас? Можно проверить, было ли, можно проверить, будет ли, но можно ли проверить, есть ли?

Прежде всего – любовь. Можно ли проверить любовь?

По-моему, то, что можно и нужно проверить, не есть любовь во всем истинном значении этого слова. Любовь одаривает сердце всей полнотой жизни. Этого и есть мерило. Этим мерят. Это же не мерят ничем.

Вот тут я предвижу остановку. Недоумение, а подчас и бунт сознанного, привычно направленного на физический мир. «Как это не мерят ничем?!» Мы привыкли всё мерить. Мы не знаем того, что нельзя измерить. Любовь? Любовь меряется делами. Даже и Евангелие цитировать можно: «По плодам их узнаете их…» (Матфей, 7:16).

Да… совершенно верно. Как разобрать бедному королю Лиру, которая из дочерей действительно любит его? Разве не по делам, разве не по плодам? Ну, конечно, и по делам, и по плодам… – для слепых сердцем, не способных видеть… Корделия, Гонерилья и Регана были точно такими же, когда изъяснялись в своих чувствах к отцу, как и потом, когда проявили их на деле. Король Лир не видел, а верил в общепринятом смысле этого слова. Такая вера подлежит проверке. Иногда она ее выдерживает, иногда – нет. Но и подтвержденная, и опровергнутая, это – не та вера.

У Л. Андреева есть рассказ о человеке, страстно веровавшем. Но когда он не смог со своей верой сотворить чудо, он как бы в пропасть упал. Вера его рассыпалась. Это типичный пример «не той» веры: истинная вера не может рассыпаться никогда ни от чего на свете. Ибо все будет – «не про то», как говорил князь Мышкин.

Вера истинная ведет туда, где ничего измерить нельзя. Из мира поступков в мир причин и еще глубже – к таинственной Первопричине жизни. Все дела, плоды, результаты находятся в мире внешнем, в мире следствий, видимых, проявленных. Первопричина – не дело, не плод, не результат и ничем из перечисленного не мерится. Она мерится только самой собой. Истинно верующий уже сдвинул гору. Сдвинутая гора – это сброшенное с духа давление материальной силы, это непорабощаемость духа плотью, независимость от нее, внутренний выход в Царство, которое не от мира сего. В царство, где дела проверяются Любовью, а не Любовь – делами. Ощущение полноты Любви в сердце и есть высшая точка жизни. Ее центр. Ее смысл. Внутреннее солнце, от которого расходятся жизнетворные лучи во внешний мир. «Бог есть Любовь» (1 Иоанна, 4:8).

В одной суфийской[7] притче Бог явился к святому и предложил исполнить любое его желание. «Зачем мне это, – ответил святой. – С меня достаточно того, что Ты есть».

Это предел веры, это полнота созерцания. Большего не может быть. Все уже есть. Сейчас и здесь. Тот, кто увидел Бога, увидел непреходящий смысл преходящих вещей, увидел все прошедшее и будущее. Смерть прошла. Прошло прошлое. Воскресение и жизнь вечная.

«Я есмь воскресение и жизнь» (Иоанн, 11:25), – сказал Христос слова, которые невозможно вместить тем, кто привык все измерять мерками разума.

[7] Суфизм – мистическое течение в Исламе. Учение о постепенном приближении через мистическую любовь к познанию Бога (в интуитивных, экстатических озарениях) и слиянию с Ним. Возникло в VII–IX вв.

Глава 3
Усилие, которым берется Царство

Достоевский был тем Иовом, который докричался до Бога. И увидел. И онемел, потрясенный. Он почувствовал Нечто, за что можно отдать жизнь:

«Так ужасно ясно и такая радость… Если более пяти секунд, то душа не выдержит и исчезнет. В эти пять секунд я переживаю жизнь и за них отдал бы всю мою жизнь, потому что стоит»[8].

Это сказал Кириллов, но мог бы сказать и сам Достоевский. Он сам пережил предсмертное созерцание освещенного солнцем шпиля и не устанет говорить о пронзенности Богом, точно этим горящим шпилем. Насквозь пронзен и жив, а не умер. Случилось событие огромной важности: при яркой вспышке внутреннего света он отчетливо увидел цель своего пути. Увидел сам путь, и вырвались из сердца слова «смешного человека»: «И пойду! И пойду!»[9].

– Куда?

Да разве это объяснишь?

– Как?

Да разве это расскажешь?

Однако – идти и рассказывать, проповедовать Истину, которую он видел. Видел Истину… Так что же он, преобразился? Стал святым? Только ли свет исходит от него?

Нет.

В глубине его сердца как бы: проступил образ святого – князя Мышкина («Идиот»). От него он никогда не откажется. Это теперь центр его жизни, его глубинная святыня. Образ человека, в котором отпечатался Бог, в котором произошло преображение. Человека, в котором умерло «эго». Соблазны? Борьба с соблазнами? Князь не знает этого. И не потому, что у него детское сердце, еще не понимающее сладости запретного плода. Так думают о князе часто, но это неверно.

Князь – сердцевед, почти ясновидящий, князь видит и знает больше всех окружающих его грешных людей; и если безгрешен, то не по неведению, а потому, что грех над ним не властен, его не тянет к греху; красота Содома ни на мгновение не кажется ему красотой. Сердце его не раздвоено. Оно отдано божественной красоте. Любовь к этой божественной красоте, к Богу, которого увидел он внутренним зрением, выжгла грех. Он стал прозрачным чистым сосудом, наполненным светом. Он светится. Святой, светящийся… Его можно растерзать, но не соблазнить. Он навсегда оставит светящийся след.

А сам Достоевский?

Такого полного преображения в нем не произошло. Цельности нет. Одна часть души его у цели, в далекой глубине своей; другая – только начинает свой путь, спотыкается, падает, поминутно оглядывается. И все-таки: «И пойду! И пойду!». И идет. Внутренний человек зовет, внешний сопротивляется призыву духа. Идет великая борьба, может быть – до последнего вздоха жизни. Ясно только одно: она не может решиться в отрицательную сторону (в сторону внешнего человека).

Эти слова, сказанные Зосимой об Иване[10], можно отнести и к автору «Карамазовых». Он любит князя Мышкина, любит святого, святость, как и Иван – своего младшего брата. От этой любви ему никуда не деться. Без нее он жить не может. И она и есть спасающая, охраняющая и

---

[8] Достоевский Ф.М. Бесы. Полн. собр. соч. Т. 10. М., 1974. – Далее цитаты приводятся по этому изданию.

[9] Достоевский Ф.М. Сон смешного человека. Полн. собр. соч. Т. 25. М.,

[10] Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Полн. собр. соч. Т. 14. М., 1976. – Далее цитаты приводятся по этому изданию.

направляющая сила его души. Это по ее велению он идет к своей цели, своим трудным, подчас страшным путем.

В глубине его души живет святой. Но жить на этой глубине – значит жить в постоянном созерцании. И даже тысячу раз пережитое созерцание еще не есть постоянное созерцание.

Постоянное созерцание, как и непрерывная молитва, – это уже некое новое качество сердца и ума – преображение.

Весь Достоевский – это порыв к преображению. И созерцание возможности преображения. Но самого преображения – полного перерождения человека, перерождения его строя чувств, его желаний, – еще не наступило.

В романе «Идиот» описано первое религиозное созерцание Достоевского: созерцание луча света на шпиле в ожидании казни. С тех пор это, может быть, не раз повторялось, – созерцание Вечности, созерцание смысла жизни. Те самые минуты, «в которые эпилептик Магомет обозревал все царства Аллаха».

Действительно, эти минуты граничат с откровениями родоначальников великих религий. Личные свидетельства о Боге. Открывание третьего глаза или шестого чувства, видящего, ощущающего непреходящее, остановку времени, абсолютную полноту жизни. Но вслед за этими вознесениями земная физическая природа брала верх и наступала тяжелая тьма, отупение, почти что муки ада. Князь Мышкин говорил, что светлые минуты стоили всего. Впрочем, тут же прибавлял, что во время мучений он, может быть, и не считает, что минуты просветления искупают их, и все-таки вне всяких соразмерностей и логики знает сердце, что в минуты эти оно видело Истину. (Не куцую правду факта, предстающую глазам, а бесконечную Истину-смысл, предстающую сердцу.)

Одновременно или сразу вслед за созерцанием Высшего Света приходит к Достоевскому и созерцание греха. Вернее, в этом новом свете становится видна истинная природа человека – и Высший Образ, по которому он создан, и бесконечность отдаления его от этого Образа – глубина падения. Вместо туманной мечтательности приходит видение действительности со всей ее красотой и ужасом. Со светом, вонзающимся во мрак, и мраком, грозящим затмить свет. В этой борьбе света и мрака – весь Достоевский. Придет он или не придет к постоянному свету, победит или не победит, – но огромная воля к свету есть, и она струится со страниц его романов. Все они, начиная с «Преступления и наказания», – это великая, может быть, неслыханная в мировой литературе по силе искренности и глубине исповедь. Это обнародование своих бесконечных сомнений, бесконечных грехов своего ума и сердца. (Да, и ума, и сердца. В одних романах внимание больше сосредоточено на грехах ума, в других – на грехах сердца.)

И вот в мир, на обозрение всем хлынул такой поток откровенности, которого человечество еще не знало. Никто никогда в мировой литературе еще не заглядывал в такие глубины подсознания, в такие темные уголки души и вместе с тем никто и никогда не подступал так близко к самому Источнику света.

Немудрено, что читатели были ошеломлены. Герои Достоевского были списаны как будто вовсе и не с них, и не с их соседей. На самом деле люди просто не умели видеть ни себя, ни своих соседей. У них было другое зрение. И вот поступки героев, в которых созерцаются и воплощаются невидимые, не выявленные движения души, воспринимались как поступки самого автора. Дошло до того, что Достоевского обвинили в грехе, который он считал самым страшным на свете. Ставрогин («Бесы») и его творец сливались в сознании читателей в одно лицо.

При этом забывалось одно неимоверно важное обстоятельство: самый страшный герой Достоевского (ибо страшнее Ставрогина нет) не отважился на покаяние. Его проект покаяния был игрой с самим собой. Он смог все, на что его подбивал дьявол, а послушаться Божьего голоса не смог. Здесь он оказался немощен. Не хватило того самого усилия, которым берется Царствие Небесное. Усилия покаяния – усилия отталкивания от нашей грешной природы.

Достоевский вовсе не делит мир на всегда плохих и всегда хороших, на ангелов и демонов. Все динамично. Праведник – не тот, кого Бог таким сделал, а тот, кто сам себя поднял из грязи. Он мог быть самым закоренелым грешником. Чудо в том, что и для такого грешника возможно полное преображение, если он по-настоящему от всей души покается.

Такое покаяние и есть чудо. На него нужна великая душевная сила и великая воля к свету. На это не был способен Ставрогин. На это был способен Достоевский. И поэтому расстояние между ними большее, чем от неба до преисподней.

Когда Тихон Задонский, этот истинный святой, говорит Ставрогину: «Я, может быть, грешник больший, чем вы», – это не только заученная формула христианского смирения. Это еще утверждение единой природы всех людей, одного теста, из которого делаются и святые и грешники.

Одного теста? Да разве все на самом деле сделаны из одного теста? Разве не с разными дарами, не с разными возможностями люди родятся на свет? Одного к греху тянет, и преодолеть это тяготение ему трудно, а другому нет ничего труднее, чем согрешить. По крайней мере – так согрешить.

И все же первоначальная природа у всех едина. Какая таинственная работа совершалась в предсуществованиях наших, когда душа удалялась от своей истинной природы, мы не знаем. И однако, вот главное, что мы знаем, что должны знать: наша истинная природа, Образ, по которому мы все созданы, – священный Божий образ. И двигаясь к очищению, к святости, мы движемся внутрь, по направлению к нашей собственной сути. Чем дальше человек ушел от своей природы, тем труднее ему вернуться. Но возможность вернуться внутрь есть всегда и у всякого. Грешнику совершить такой поворот труднее, чем праведнику. И именно потому усилие его ценится невероятно высоко. И радость об одном раскаявшемся грешнике более, чем о десяти праведниках.

Природа у святого, и у грешника – одна. Отличие святого не в иноприродности, а в том самом усилии, которое могут сделать все. Дерзай! Ставрогин на мерзость дерзнул, а на святость – нет.

Глава 4
Открытые вопросы

Ставрогин сочетал в себе грехи и ума, и сердца. Он был как бы хром на обе ноги сразу. Сочетание для героев Достоевского достаточно редкое.

Обычно его страдающие герои – либо мученики идеи, ум которых не принимает Бога, либо мученики плоти, изменяющие Богу, не переставая при этом любить его бессильной, но неотступной любовью.

Разум и Ивана Карамазова и Раскольникова хочет строить мир по-своему, установить свой порядок вместо Божьего. Бог их не устраивает. Бог для них – выдумка твари дрожащей. А бесстрашный, по их мнению, знает, что нет Высшего, – и сам становится высшим. Это – гордыня ума, великий грех разума, который сдерживает только душа, только живущая в ней любовь. Пока бунтующий гордец любит и страдает, он еще жив, есть надежда. Чем больше страдания, тем больше надежды.

Но взбунтовавшийся разум борется с душой, с любовью, со всеми «низкими» чувствами. И вот Раскольников убивает Алену Ивановну и Лизавету… С первого же шага защитник невинных убивает одну из самых невинных, самых чистых, самых кротких. Ему не давали покоя глаза засеченной лошади? А глаза Лизаветы?

Иван, собственно, не делает никакого шага. Он только примеривается, только думает. И хотя Бог как будто очень мешает ему, он смутно чувствует, что не может стать на Его место, что-то здесь не то… Не так. Не может он без Бога, хотя почему – непонятно. Ничего не удается поделать с дурацкой, не внемлющей логике душой, которая никакими «позволениями» пользоваться не хочет, не может, да и все тут! Так что Иван, как и Раскольников, не доволен собой, не соответствует он собственному идеалу, не удается ему до конца восстать на Бога.

С другими героями все обстоит иначе. Они еще глаз не смеют поднять на Бога. Ни о каком восстании речи нет. Бог их незыблем в небе. Но вот сами себя они не устраивают. Не устраивает себя Мармеладов, не устраивает себя Митя Карамазов… Не устраивает их человек вообще (широк, слишком широк человек…).

И еще один герой (или антигерой) есть в мире Достоевского: человек из подполья[11]. Может быть, первый, кто осмелился до конца заглянуть в самого себя и увидеть не благообразие, а мерзость, был именно человек из подполья. Отшатнулся ли он, ужаснулся ли он – это другой вопрос.

На это у него не хватило силы. Но он увидел. И не скрыл. Он увидел, что обезбоженный человек скрывает в себе беса. И, может быть, потому увидел, что глубже жил. А тот, кто живет мельче, так тесно сросся со своим бесом, что может мирно сосуществовать с ним, вовсе его не замечая и воображая себя благородным и прекрасным.

Подпольный человек слаб; у него нет силы на борьбу с бесом, но он видит. И это не так-то мало. Это живой открытый вопрос о природе человека, поставленный в истоке великих романов Достоевского.

Собственно, с двух этих вопросов и начинается великий Достоевский: о природе человека и о существовании Бога. Действительно ли свят и совершенен Бог, или все это выдумки и нет ни святости Бога, ни Его самого? Действительно ли прекрасен естественный человек, или стихийное животное начало наше уже исказило свою истинную божественную природу и нужен великий духовный труд, чтобы к ней возвратиться?

---

[11] Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Полн. собр. соч. Т. 5. М., 1973. – Далее цитаты приводятся по этому изданию.

Эти вопросы романы Достоевского решают так, как будто бы раньше их не решал никто. Герои неотрывно вглядываются в бездну своей души, вызывают бури – и бросаются им навстречу. Иов, буря и Бог почти в каждом романе. Хотя Иов Достоевского редко бывает Божьим праведником. Чаще всего это Иов-грешник. Однако сила страдания очищает его, сжигает грех, открывает Богу дорогу в сердце, и Раскольников подхватывает луч, протянутый с неба. Протянутый всем: только возьми…

Ставрогин этого луча не подхватывает. Он не хочет помощи. Он сам все может. Иван провозглашает: «Все позволено» («Братья Карамазовы») – и не может (спасительная немощь). Ставрогин может. Он гораздо последовательнее и Ивана, и идеалиста Раскольникова (Шиллера, как говорит о нем Свидригайлов). Если нет Бога, то побоку и всякую мораль. Природа человеческая плоха? Превосходно. Чем хуже, тем лучше. Нужна только сила. Родион Романович долго упрекал себя в недостатке силы. Ну, а Николай Всеволодович чувствовал в себе силу беспредельную. Только и делал, что пробовал силу свою, и убеждался, что она беспредельна. Так ли ему была нужна Матреша? Нет, конечно. Ему нужно было убедиться, насколько способен он попирать все божеские законы. Может быть, это был экзамен на последнюю ступень адского могущества… Сдал экзамен.

Есть две противоположные друг другу силы – любовь и власть. Если любовь есть внутренняя полнота жизни, то власть есть заполнение пустоты. Если любовь – жизнь истинная, то власть – жизнь кажущаяся, замена жизни, возможность жизни, возможность жить при отсутствии жизни.

Хочу сразу избежать спора о словах.

И «Любовь» и «Власть» могут иметь разный смысл. Любовь может быть корыстной и грешной, а власть – необходимым учреждением и освященной Богом тяжелой обязанностью. Такая власть всегда уравновешена ответственностью и не противоречит любви. Может быть, наконец, власть внутренняя. Это и есть власть Бога. Но внутренняя власть никогда никого не порабощает. Верный раб Божий – это человек, служащий внутреннему Господину. Это правильно установленная иерархия, внутренний космос. Здесь же я говорю о другом: **о** бескорыстной любви ко всему сущему и о власти как о внешней силе, как о стремлении к безраздельному господству над другим. Ваалы – властители. Дьявол – князь, властитель мира сего. А Бог – это любовь, царь внутреннего царства. Бог – освобождающая душу любовь, дьявол – порабощающая душу власть.

«Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Иоанна, 4:18). Абсолютная власть мира сего как будто тоже не знает страха. Но это внешнее сходство антиподов. Опустошенный, опорожненный от Любви человек устремляется к власти. И становится бесстрашным властелином. Как будто становится… Кто знает, какой-нибудь каторжник Орлов («Записки из Мертвого дома»), может быть, и становится, а Ставрогин… не совсем.

Сверхчеловек, человекобог наткнулся на свое «не могу». И эту подножку подставила ему красота. Он вдруг увидел сон поразительной красоты, любимый сон Достоевского, который снится многим его героям: золотой, закатный свет с картины Клода Лоррена… образ внутренней красоты безгрешного человечества. Ставрогину – такой сон! Да. И он чувствовал, может быть, вспоминал душой неслыханное счастье – может быть, его душа вспоминала в этом сне саму себя еще не искаженную, не искалеченную, живую, созданную по образу и подобию Бога своего. И вот именно в этом золотистом свете, в истинном свете души своей стал невозможен, невыносим ему его страшный грех. И пришла Матреша со своим поднятым кулачком. И кончился всемогущий Ставрогин. Он уже не смог. Человекобог рухнул. Остался грешный человек, которому протянут луч, паутинка. Спасайся!..

В страшном положении наш мир. Хотя, благодарение Богу, не все, далеко не все дошли до ступени Ставрогина, но все грешны. И если даже Ставрогину можно спастись, то ведь всем, всем можно! Вот где пришла пора действительного испытания силы.

Но здесь он не выдержал.

Глава 5
Два страха, две свободы

«Совершенная любовь изгоняет страх». И абсолютная власть его тоже изгоняет. Друг другу противостоят два бесстрашных: Бог и дьявол.

Совершенная Любовь изгоняет страх дьявола – страх внешнего. Тому, в ком совершилась, восполнилась Любовь, ничто внешнее не страшно. Даже сам ад. Сила Божия не в том, что Он может уничтожить ад, а в том, что ад не может уничтожить Его. Как бы ни старался. Никогда. Бог – это выход сквозь ад, выход сквозь безвыходность. Ад – внешнее. Бог – внутреннее. Выход внутрь, открытый для любого грешника. Открытый всегда. Только сделай шаг. Ступи. Там, внутри, не страшны никакие обстоятельства, никакие физические законы. Там есть нечто, не зависящее от этих законов и законы эти творящее.

«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Иоанн, 2:19). Что это значит? Если здесь говорится о чуде, которое могут увидеть физические глаза, то почему: «мир уже не увидит Меня, а вы увидите» (Иоанн, 4:19)? Почему, наконец, Он просто не сошел с креста, доказав этим всем и каждому свое всемогущество? Сошел с креста или воскрес на глазах у всех – не такая уж большая разница. Тут дело в ином… В том, что не происходит на глазах у всех… А только в таинственном внутреннем пространстве. (То, что происходит потом, «на глазах у всех», – весь мир наш и каждая песчинка этого мира – имеют корень и причину в таинственном «внутри». И все тайное станет явным. Но тайное никогда не сведется к явному и не мерится явным. Оно само по себе мерило. Его нельзя доказать и показать. Внутреннее предстает лишь внутреннему. То, что Христос умер, видели все. То, что Христос воскрес, видят немногие.) Бог не уничтожает ад, но Он его бесконечно превосходит. По сравнению с бытием Бога, ад – небытие, ничто. Бытие кажущееся.

Страх Божий – это страх внутреннего своего, это страх перед своей собственной жизнетворной глубиной, перед Творцом. Постоянный внутренний трепет свободного сердца, боящегося попасть в рабство к внешнему, отторгающему от самого себя.

Мы знаем словосочетание «страх Божий». И как-то не принято другое: страх дьявольский. Есть просто страх, обычный, порабощающий душу страх внешнего – страх перед обстоятельствами, страх перед творениями видимыми, все более уводящий от невидимого, бесплотного Творца. – От своей собственной божественной сути. Это страх тварный. И все же он от дьявола, этот страх. От князя мира сего. Он внушен его властью над нами.

Есть священный внутренний трепет – страх оскорбить того, кого люблю, кто любит меня и дает мне жизнь. Этот страх углубляет и возвышает душу. И есть унизительный трепет раба перед господином, унизительный страх слабого перед неодолимыми обстоятельствами. Этот страх мельчит, унижает душу.

Бог учит не бояться дьявола. Дьявол учит не бояться Бога. Вера в Бога – ощущение полноты бытия только во внутреннем пространстве, ощущение независимости этого пространства ни от чего внешнего. Живое ощущение это, которое есть не что иное, как собирание любви, собирание Духа Святого, в конце концов изгоняет страх внешнего. Совершенная любовь изгоняет тварный страх, побеждает его. Но процесс совершенствования любви идет через сталкивание страхов.

Если страх обидеть в тебе больше, чем страх быть обиженным, страх причинить боль больше, чем страх испытать боль, значит ты больше веришь Господину внутреннему, чем господину внешнему. Значит твоя любовь к этому Внутреннему говорит тебе все более и более внятно, что истинное бытие и истинное могущество сосредоточены только внутри. И ты все больше убеждаешься, что внешнее бытие – временное и в конце концов кажущееся, а внутреннее – вечно сущее. Ты все более убеждаешься, что главное в жизни твоей зависит вовсе не от

кого-то и не от чего-то, а от тебя самого, потому что ты властен обидеть или не обидеть, причинить боль или не причинить (великая власть!..); и сам властен вынести обиду и боль от других, не замутясь душой, не позволив вырвать ее из глубины на мель и разъединить со своей сутью.

Любовь к этой сути, к жизнетворной вечной глубине, любовь к Творцу освобождает душу от страха перед тварью. Любовь к Творцу есть живое ощущение нашей общей, невидимой глазам Вечности, общего нам всем внутреннего пространства. Страх потерять это пространство, потерять вечность, быть извергнутым из нее во тьму внешнюю, изгоняет страх перед самыми большими страданиями.

Два страха, две смерти противостоят друг другу… Самое совершенное из творений – Иисус Христос – не был свободен полностью от тварного страха. Его слезы в Гефсиманском саду… Его смертный пот… Его до сих пор не отзвучавшее восклицание на кресте… Страх тварный в Нем был, поскольку и в Нем была природа человеческая. Но его победил страх Божий. Победила полная готовность растворить свою человеческую волю в воле Божественной. Да, пусть убьют, пусть распнут, но любовь останется цельной, свет не уйдет из сердца.

«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают»… (Лука, 23:31). Большего не может сказать человек в свой страшный, свой смертный час. Предельная вера в Творца. Большей быть не может.

Нет, не магическое избавление от смерти, а прохождение через смерть. Сознательный выбор одной смерти во имя избежания другой. Смерть для внешнего, временного, во имя жизни внутреннего, вечного. (Я умру, да будешь жив Ты!) Смертию смерть поправ.

Дьявол – тварь. Сильнейшая из тварей. Может быть, не дрожащая тварь… Бесстрашная тварь, но тварь, а не Творец. Той дрожи, того трепета, который соединяет тварь с Творцом, в нем нет или почти нет (он предельно мал, этот трепет; он побежден духом власти, упоением своей властью). Дьявол княжит в мире сем – внешнем; правит тварями, владеет ими.

Как? Почему? Почему Бог позволил это? Обычный вопрос, порожденный вечной путаницей. Люди упорно представляют себе Бога как власть, которая может что-то кому-то позволять или не позволять… Путаница между внешним и внутренним, между Божиим и тварным.

Нет, Бог не управляет жизнью извне. Бог только есть среди небытия и Он не дает небытию поглотить Себя. Сущность Бога – **БЫТЬ И ТВОРИТЬ**. Дьявол же не может ни того, ни другого. Он не причастен к полноте бытия – жизни вечной. Он не причастен к творчеству жизни. Что же он может? Только обладать тем, что сотворил Бог. Обладать и распоряжаться. Ибо Творец не обладает ничем. Творить и обладать – противостоящие друг другу понятия.

Творчество – это дыхание Творца, ритм, движение, поток. Обладание – задержка дыхания, остановка сердца. Дьявол может обладать тем, что сотворил Бог. Только не самим Богом.

БОГОМ, – ЖИЗНЬЮ, – ЛЮБОВЬЮ – владеть нельзя. Этому можно только причаститься, преодолев самость, отдельность. Дьявол – тварь Божья, не желающая причаститься Богу. Тварь, стремящаяся подчинить Бога себе. Но здесь предел всякой власти, всякого могущества. Здесь всякая тварь линяет, теряет силу. Жадная старуха, получившая все, что только могла пожелать, остается при разбитом корыте, как только помыслила завладеть Золотой Рыбкой.

Во внешнем мире тварь может господствовать. Но всегда остается нечто, ей неподвластное И это **НЕЧТО** – главнейшее – суть бытия. Здесь – область того непонятного, иррационального страха, от которого не свободен и дьявол. «И бесы веруют и трепещут» (Иакова, 2:19). Тот самый священный трепет, страх внутреннего своего, – он есть и у бесов… И заставляет их иногда цепенеть и отшатываться от непонятного, неподвластного им…

Как смущен Мефистофель, когда Фауст посылает его в царство Матерей. Развязный, ни перед чем не останавливающийся, черт впервые замирает и говорит, что ему туда нельзя. Там… Он даже не в состоянии выговорить. Там – **ничто, никакой** твари. **Ничего** сотворенного. И однако – **бытие.** Он его чувствует, как собаки чуют привидения. Здесь граница. Здесь черт

кончается с концом всякой твари. Дальше – Творец. И Его не испугается только причастный Ему, причастный творчеству. «В твоем ничто я мыслю **всё** найти» (И.В. Гёте. «Фауст»).

Мефистофель, может быть, близок к черту Ивана Карамазова: мелкий бес, лакей, приживальщик. Озорник, наслаждающийся своими проказами, но неспособный ни на что крупное. Перед страданием, перед угрозой гибели он бежит. Но есть ведь другие черти, покрупнее. У чертей ведь тоже есть своя иерархия. Как поведет себя перед «ничто» демон высокого полета? Романтический, страдающий Демон, герой Лермонтова, Врубеля? Носитель света – Люцифер – вспыхнувший так ярко, что почти ослепил мир и много душ прожег дотла… Он способен созерцать величие Творца. Он и блеск взгляда Его может выдержать, но… «на челе его высоком не отразилось ничего». Ни малейшего содрогания. Ни мига того священного трепета, который говорит о существовании чего-то большего, чем он. Нет **большего.** Нет предела его гордыне. Он сам не менее прекрасен, чем вершины Кавказа, сверкающие, как грани алмазов. Божий первенец.

И в отличие от всех мелких бесов он глубоко, нестерпимо страдает. Он исчерпал все возможности жить отрицанием. Дошел до дна наслаждения властью, могуществом – до пустоты. Мефистофель содрогался при мысли о пустоте. Этот – не содрогнулся. И очутился в пустоте. Он не раб. Он безгранично свободен. Свободен от всякого страха. Свободен от… жизни. Вот оно – адское страдание: жить без жизни. Жить, не чувствуя ничего, что могло бы привязывать к жизни. Уж какой тут аппетит к жизни! Тут жажда смерти, но смерти нет, нет, нет!..

Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья, –
И зло наскучило ему.
……
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.

(М.Ю. Лермонтов. «Демон»)

Бесконечное повторение. Вместо тайны рождения и воскресения, утомительное однообразие, механический такт вместо ритма. Если Бог есть полнота бытия, дьявол есть пустота небытия.

Бездна Бога и бездна дьявола, зеркально отражающие друг друга, внешне подобные, в сущности абсолютно противоположные…

Сатана есть тварь не дрожащая. Тварь бестрепетная и потому совсем погибшая, совсем непричастная к бытию, совсем свободная от Творца своего.

Свобода… Их тоже две. Нет одной свободы в этом мире. Есть свобода твари. И свобода Творца. Бунт дьявола, его восстание против Бога начинается во имя свободы. Свобода твари **против** свободы Творца.

Свобода тварей означает свободу множеств, сталкивающихся между собой. Свобода миллионов означает войну миллионов. Свобода Творца есть свобода того глубинного жизнетворного начала, которое объединяет всех и вся. Для того, чтобы быть действительно свободным, надо найти свое единство со всем миром. Иметь великий страх Божий – страх обидеть другого, вплоть до жертвенного желания: лучше умереть самому, чем причинить боль другому.

Освобождение от страха тварного может быть только за счет возрастания страха Божиего. Полностью свободен от всякого страха только Сам Бог. Там, внутри, господствует Бог, не

боящийся дьявола. Здесь, вовне, – дьявол, не боящийся Бога. А между ними – страх и трепет тех бесчисленных, кто еще может спастись и еще может погибнуть. Поле боя.

Глава 6
Расколотая душа

Ставрогин хотел быть бесстрашным. Во что бы то ни стало бесстрашным. А от какого страха быть свободным, это ему до поры до времени все равно. Впрочем, может и не все равно… Слишком много было намешано в этом человеке. Слишком много совмещалось несовместимого. И ему надо было понять, прежде всего во что бы то ни стало понять самого себя. Испытать. И быть честным. В честности ведь ему не откажешь. То, что он украл деньги бедного чиновника, – пустяки. Ведь не деньги ему нужны были. Нельзя было ответить самому себе – может ли он красть, не попробовав, не испытав. Попробовал. Ответил. Честно ответил: может. И так во всем. Он препарировал собственную душу, как какую-нибудь лягушку. Может быть, подчас бывало и больно, и не очень приятно. Ну так что? Это надо было победить. И побеждал. И какое наслаждение испытывал от победы! Вынесенное унижение, снесенная пощечина – все, все могу!

Но все-таки страх в нем был… И не все, не все еще он мог… И тот поразительный, заветный для Достоевского сон приснился Николаю Всеволодовичу не случайно. В каких давних предсуществованиях душа его знала рай – нам не известно, но она его знала и, что еще важнее, – не забыла. Ибо и Люцифер знал. Был же он светоносным ангелом… В этой душе, непостижимым образом совмещавшей несовместимое, жило воспоминание о божественном созерцании. Жило.

И вот это-то увидела в нем блаженная Марья Тимофеевна, вот почему и прозвала его светлым князем. Если Лизу завораживала его таинственная сила, а Дашино материнское сердце тянула невидимая никому слабость, – то Марья Тимофеевна провидела тайную красоту, спрятанную в глубине его души.

Эта красота была. Но… была не только она. Она совмещалась с чем-то, чего восхищенное цельное сердце провидицы до поры до времени не замечало. Хромоножка поверила в светлую красоту и в вере своей обманулась.

Красота Ставрогина была расколота внутри себя на две: красоту Мадонны и Содома. Влекло и то, и другое. Красота Мадонны не оскорблялась страшным соседством, не вытесняла, не выжигала своим светом тьму, а мирно уживалась с ней, стихийно присутствуя при разложении души на составные части.

Ангел церкви Лаодикийской был не холоден и не горяч (Откровение, 3:14-19). Не так холоден, чтобы потушить, заморозить воспоминание об увиденном сердцем рае, и не так горяч, чтобы возненавидеть ад и сделать великое жизнетворное усилие – собрать воедино расколотую душу. Он продолжал исследовать, что он может, а чего не может. Нет, не одно безобразие заставило его жениться на Марье Тимофеевне. В нем таилась великая возможность. Он мог, может быть, он был призван запеть осанну и воскликнуть, как Тихон: «Креста твоего позорного да не постыжуся!» («Братья Карамазовы»).Но он не сделал этого. Священный уголок его души, в котором таилась искра несотворенного света, подвергался исследованию, как и все прочие. И это было кощунство.

То, что открылось самой глубине твоей души, самому внутреннему, – не проверяется. Оно животворит втайне. Внутри. Оно само проверяет всех и вся. Но когда перед тобой встает Бог истинный и твое сердце хоть на миг вздрогнуло, вспомнило – узнало, – склонись и замри.

Все вопросы: «как распознать?», всяческие «как?», «где?» и «почему?» – здесь неуместны. Сердце или знает, или нет. Но если знание хоть на миг коснулось сердца, оно не вправе забыть, оно должно быть верным этому знанию. «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите…» (Иоанн, 9:41). Великие, полные таинственного значения слова Христа. Видел, но не поверил. Ибо имел оба страха сразу. И страх Божий

(нет, не умер этот страх, как ни убивал его), и страх тварный, страх внешнего, боязнь довериться внутреннему; ибо все внешнее, все очевидное было против: не мог никак существовать в этом мире Бог. Это доказывалось разумом, как дважды два – четыре.

Против этой куцей истинки бунтовал еще подпольный человек – самый прямой предшественник Ставрогина, – он показывал язык хрустальному дворцу, выстроенному по законам разума; он говорил: « я согласен, что дважды два – четыре – превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и дважды два – пять – премилая иногда вещица». И внутренний человек в Ставрогине бунтовал против всех этих «дважды два – четыре» – и все-таки отбросить их никак не мог. Он оставался в плену у арифметики и поверял ею даже те отголоски истинного откровения, которые у него по временам бывали. А расколотое сердце поддерживало грех разума.

Одинаковая тяга к двум идеалам красоты – Мадонны и Содома – лишала силы, делала светлого князя, призванного к подвигу любви, – самозванцем, Гришкой Отрепьевым.

Дьявольская красота отличается от Божьей тем, что не ведет сквозь себя, далее себя (далее образа – в Несотворенное, внеобразное), а останавливается на себе самой. Она – не путь, а ловушка. (Не выход в бесконечное, а задыхание в конечном. Красота тварей, которая не ведет к Творцу.)

В мире Достоевского есть две красоты: Красота, которая мир спасет (Божественная), и Красота, как страшная, ужасная сила (демоническая красота).

Демон, обладающий красотой, может знать все о величии Бога, он почти во всем подобен Ему, – кроме одного: он – тварь. Он – отдельность. И от этого не откажется ни за что.

Он хочет войти в безграничность вместе со своей ограниченностью, со своей отдельностью. Ненасытимая адская жажда, бесплодная, не знающая конца мука падшего ангела…

Равная Богу тварь… Может ли быть больший соблазн для твари, чем ее, твари, равенство с Богом?! Он все еще носитель света – Люцифер, умеющий заставить мир вспыхнуть всеми цветами радуги, увлечь невиданной яркостью впечатлений, опоить сверканием, звуками, ароматами.

И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой,
Возьму росы с цветов полночных,
Тебя осыплю той росой.
……..
Я дам тебе все, все земное,
Люби меня.

(«Демон»)

И как еще его любят! Как жалеют! Величественный страдалец… Демон, Печорин – и вот рядом с ними Ставрогин. Мужчины заворожены им. Женщины по одному его мановению забудут все, чем жили, пойдут, как крысы за дудочкой крысолова, на край света, пойдут, может быть, на предательство… На забвение всего, чем дорожили в жизни. И только одна юродивая, обиженная Богом, полоумная Хромоножка в ответ на его вопрос: «Уж не боитесь ли, что я вас разлюбил?» – скажет: «Об вас я совсем не забочусь. Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить». И в ответ на все его сатанинское величие презрительно усмехнется. «Прочь, самозванец! – повелительно вскричала она. – Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа!».

Эта калека, эта слабейшая из слабых совершенно отбросила тварный страх: страх Божий (никогда никого не обидит) и любовь к Богу вытеснили, выжгли в ней все тварное! Как свободно парит она в духовном пространстве! Как видит все скрытое!

«Нет, не может быть, чтобы сокол филином стал. Не такой мой князь!» – гордо и торжественно подняла она голову. И когда Ставрогин отвечает ей, что она его не за того принимает,

что князем он никогда не был, Марья Тимофеевна приходит в исступление. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Коринфянам, 3:19). А безумие в глазах мира сего и есть духовная мудрость. Он не принимает этого? Он отказывается от законов мира духовного? Не князь?! Отказывается от своего призвания к подвигу любви и веры?

«Господи! – всплеснула она руками. – Всего от врагов его ожидала, но такой дерзости – никогда! Да жив ли он?.. Убил ты его или нет, признавайся!» Ей дела нет до очевидности, до фактов – истинок этого мира. Она провидит то, что есть в мире духовном. А в духе он убил в себе князя. Убил Божий образ. И вот понеслось в темноту, вослед убегавшему «сверхчеловеку»: «Гришка Отрепь-ев а-на-фе-ма!» («Бесы»).

Глава 7
Взломанная тайна

Рядом со Ставрогиным находятся люди, в жизни которых он сыграл неимоверно большую роль; люди совершенно разные, иногда до полярной противоположности. Но все они както пересекаются, скрещиваются в ставрогинской душе.

Это и Марья Тимофеевна, и Кириллов, и Шатов, и Петр Верховенский – со всеми «бесами», выпущенными им на вольную волю.

Кириллов – одна из самых странных фигур в мире Достоевского. Ему отданы глубочайшие, священные слова. Он пережил, он знал сердцем то же, что и святой – князь Мышкин. И, однако, если князь и в болезни, и в безумии своем остается светом, то Кириллов и в доходящем до откровения свете своем остается безумцем; и кажется, что он бредит у нас на глазах.

Созерцания у князя и у Кириллова – одни и те же. Они просто буквально совпадают. Оба пережили реальность Высшего Света, как бы увидели смысл жизни, узнали, что за минуты эти можно отдать всю последующую жизнь, – «потому что стоит…». Почему же из столь одинаковых созерцаний – столь разные выводы?

Очень долго Кириллов казался мне «ошибкой Достоевского», образом, который сконструирован умом. Казалось, что из такой полноты созерцания нельзя сделать столь безумных выводов… Но теперь я знаю, что образ Кириллова – не ошибка. В нем сказалась великая правда. Князь Мышкин в минуты высшего созерцания ничего не хотел, кроме того, что есть. Он мог бы сказать, как святой из суфийской легенды, которому Бог обещал выполнить любое его желание: «У меня нет желаний. Мне довольно того, что Ты есть». Полнота созерцания Бога есть преображение человека. Нет больше желаний, ибо все совершилось. Нет прошлого и будущего. Есть бесконечно расширенное настоящее. Это и значит: нет времени. Есть Вечность. Нет ничего внешнего. Все внутри. Источник жизни – Бог – Царство Божие – внутри.

Где есть большее богатство, чем в сердце, вместившем все? Кто может что-либо дать этому сердцу? Никто. Оно же само может давать бесконечно. Солнце ни у кого не просит света. Сердце, ставшее солнцем, непрестанно изливает в мир самого себя…

Князь Мышкин стал таким сердцем-солнцем, – святым – светящимся – светящим. Его душа уже видит по ту сторону разделений, по ту сторону часов и дней, жизни и смерти. Абсолютно не постижимым для разума образом он знает, что смерти нет (хотя она все-таки есть), что страдания нет (хотя оно есть… и как ещё есть!).

Эти «есть» и «нет» относятся к разным планам, пластам бытия. Мышкин видит глубинный, вечный пласт; глубинную тайну жизни. Он созерцал необъяснимое. Он видел невидимое. Видел, вовсе не уходя из этого видимого мира, а только доглядев этот мир до конца – и дальше, сквозь этот мир. Видел сквозь сотворенное – Творца. И давал Творцу творить внутри себя. Как, в каких формах происходит творчество, – не так уже важно. В слове, или в музыке, или в картине, – или только в сердце отпечатывается Непостижимое, – не все ли равно? Важно, что отпечатывается. Творчество не есть придумывание, изобретение чего-то нового, что возникает, имеет начало – и будет иметь конец. Творчество (истинное) есть проявление вечного; проявление, то есть делание тайного явным; то, что есть, нельзя придумать. Его можно только увидеть и проявить – попытаться показать всем, по возможности приблизить ко всем – ещё, ещё и ещё раз родить – привести в этот мир явлений то, что существует всегда в мире сущностей.

Есть тайна творчества. Творчество – это таинство. Живое – нерукотворное (хотя бы это и была сделанная руками статуя или храм). Если в них живая красота – тут тайна нерукотворная. В рукотворном и головном (сделанном только руками и придуманном головой) – никакой

тайны. Все обозримо, все можно измерить, сосчитать, понять. Ничего большего, чем мое «я». Все – от себя. Мое дело. Моя вещь.

Князь Мышкин и Кириллов имели одинаковые (или почти одинаковые) созерцания. Но князь предоставил Творцу свое сердце, предоставил Ему действовать внутри себя. Только это и есть творчество. Кириллов захотел действовать сам. Захотел дела.

Собственно, в его сердце свершилось таинство (как оно может не свершиться в том, кто так видел?..). И он стал хорош, прекрасен. Это ведь и Ставрогин знал. (Не мог не видеть. Наткнулся лбом.) Но вот поверить до конца своему Внутреннейшему, открывающемуся перед ним в потрясающие минуты, как открывается мир в грозу, освещенный молнией, поверить откровению он не смог. Почему? Что ему помешало? Ведь он полюбил. Бога полюбил. Христа полюбил. Сердце его раздвоения не знало. Это не Ставрогин, расколотый между Мадонной и Содомом, не ангел церкви Лаодикийской. Потому-то и был он так бесспорно хорош, так светел. Сердце Кириллова, как и сердце Мышкина, безгрешно. Оба сердца заполнила любовь к Христу (а через Него и ко всем людям). Только князь свою любовь вынес, выдержал (не выдержала плоть; дух все вынес); а Кириллов любви своей не выдержал. Ибо стал ее проверять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.